

За образом русской культуры, в котором одновременно, без дистанций слиты взаимоисключающие литературные стили, у Пастернака встает образ русской Истории, в которой так же одновременно и без дистанций слились взаимоисключающие стили жизни и мышления, обозначившие собою безысходность трагического столкновения во взаимоуничтожающем порыве. «...Помимо значительности описанных человеческих судеб и исторических событий в романе имеется попытка, — писал Пастернак, — представить весь ход событий, фактов и происшествий как движущееся целое, как развивающееся, проходящее, проносщееся, прокатывающееся вдохновение, как если бы действительность сама имела свободу и выбор и сочиняла саму себя, отбирая из бесчисленных вариантов и версий» (Из письма Ст. Спендеру, 22 августа 1959 г. [2, с. 365]).

Ощущение, что не он, художник, создает роман, но сама жизнь высказывается в нем, повествуя о себе, — не обманывало Пастернака. Эпилог русской культуры XIX века, роман «Доктор Живаго» тем не менее не стал ее некрологом. Напротив, он явился настоящим апофеозом неумирающей, но вечно возрождающейся классики, поддерживающей жизненные силы истории, вознамерившейся было пойти «другим путем». История русской классической культуры органично продолжалась в «Докторе Живаго» вопреки запущенному «обратному ходу» времени. В этом смысле судьба романа Пастернака не только соединилась с судьбой его создателя — удивительно счастливой и столь же несчастной одновременно, — но и отделилась от него, зажила самостоятельной и независимой от художника жизнью. Это противоречие неотделимо от ведущих противоречий эпохи.

В письме к С. И. Чиковани Пастернак пытался осмыслить эту ситуацию. «Судьба произведения должна отделяться от судьбы писателя, она должна быть самостоятельной и иной, чем его судьба. Это естественно в отношении больших людей и большой литературы, это понимают дети в счастливые для искусства эпохи, и этого не понимают в наше время, так постаравшееся над разрушением художника в человеке, так поработавшее над уничтожением личности и ее пониманием в нас» (6 октября 1957 г. [2, с. 346—347]). В той мере, в какой роман Пастернака продолжал линию большой русской литературы, — он принадлежал (в мировоззренческом смысле) «счастливой для искусства эпохе», и судьба его была объективно иной, нежели судьба его творца (чему свидетелями мы сегодня и являемся). В той же мере, в какой роман и его создатель были принадлежностью эпохи, целенаправленно разрушавшей искусство, уничтожавшей художников и их творения, истреблявшей человеческую личность во имя надчеловеческих целей, — судьбы художника и его романа переплелись, соединились, стали тождественными друг другу.

У поэта Пастернака, выступавшего с покаянием на IV пленуме правления ССП, посвященном столетию смерти Пушкина, вырвались слова отчаяния: «Всеми своими помыслами я с вами, со страной, с партией!» [5, с. 4] (ср. [6, с. 117—118]). Тогда пронесло. Судьбе было угодно, чтобы два десятилетия спустя Пастернак снова услышал почти те же обвинения, что и в 1937 году. Снова требовали покаяния, унижения, полной творческой капитуляции. Опальный же роман продолжал жить своей собственной жизнью, независимой от обреченного на смерть художника. В нем находила свое выражение уже не столько творческая воля поэта, сложенная давлением невыносимых жизненных обстоятельств, сколько *воля к жизни самой русской культуры*, находившей в самых немислимых испытаниях внутренние ресурсы для своего самосохранения, возрождения, воскрешения. Именно в испытаниях только и находившей...

И чем больше старались современные Пастернаку общественные и политические силы разрушить художника в человеке, чем больше они работали, уничтожая личность в художниках и нехудожниках, стирая из сознания самые понятия личности, творчества, культуры, — тем сильнее было сопротивление художественного начала в человеке, чья личность